

---

ДИНА  
РУБИНА

✦ Наполеонов обоз ✦

Трилогия

В ОДНОМ ТОМЕ



МОСКВА

---



ПОЛНОЕ  
СОБРАНИЕ  
СОЧИНЕНИЙ



---

ДИНА  
РУБИНА

✦ Наполеонов обоз ✦  
Трилогия  
В ОДНОМ ТОМЕ



МОСКВА

---

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Р82

Оформление серии *Н. Ярусовой*

**Рубина, Дина.**  
Р82 Наполеонов обоз : трилогия в одном томе : [романы] /  
Дина Рубина. — Москва : Издательство «Эксмо», 2025. — 960 с.  
ISBN 978-5-04-211855-5

«Наполеонов обоз» Дины Рубиной — это, пожалуй, единственный в наше время настоящий большой роман о Великой любви. Его герои, Аристарх и Надежда, были положены друг другу, обладали редким талантом любви, выпадающим на долю не каждому. Выдержать такую любовь могут далеко не все. Жизни их сотрясло, закрутило и подняло на гребень девятого вала. Современным Орфею и Эвридике пришлось вступить в поединок с роком, они встретились, чтобы ... вновь разлучиться. А давняя семейная история, связанная с наследством наполеоновского офицера Аристарха Бутеро, обернулась поистине монте-крестовской — трагической — развязкой.

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-211855-5

© Д. Рубина, 2018  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Книга первая

# Рябиновый клин





## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СЕРЕДИНКИ

### ГЛАВА 1

#### НОУ-ХАЛЯУ

**Д**ве любимые песни есть у Изюма: про чёрного ворона и про сизого голубка. Да их каждый знает: *Си-и-изый, лети-и, голубо-о-о-к, в небо лети голубо-о-е... Ах, если б крылья мне тоже пожаловал бог, я-а б уле-тел за тобо-ою...*

А про ворона иносказательно так: *А ну-ка, пафень, подними повыше ворот, подними повыше ворот и держись! Чёрный ворон, чёрный ворон, чёрный ворон переехал мою маленькую жизнь.*

Такая вот занятная орнитология...

А если вдуматься: выходит, несчастный ворон всю горечь горькую народной души в себя вобрал, всё яростное омерзение? А сизый голубок, тот — просто дух небесного простора, вестник несбыточной воли, даром что серит где ни попадя?

— Это ж как птице обидно, ворону-то, — поясняет Изюм.

— Да ладно тебе! — отмахивается Надежда. — Ты видал, какие они тут летают? Я когда по грунтовке еду, близко их вижу, они прямо над машиной ухают: зловещие, размах крыльев, как у птеродактиля, и оперенье тусклое и нехорошее такое, просто жуть!

Это соседские посиделки на веранде Надеждиного дома. Там у нее стол стоит дубовый-помещичий, явно старинного боровского семейства имущество, у Бори-Канделябра прикуплен и накрыт тканой скатертью, привезенной аж из Иерусалима; дружская работа, говорит Надежда и не забывает уточнить: «не рус-ская, а друз-ская», будто Изюм должен непременно запомнить это слово: «друзы» — вот, тоже народ.

А в Иерусалиме живет эта, как её... ну писательница эта, к которой Надежда в гости ездит и привозит оттуда разные штуковины Востока: медную турку, бронзового (тяжеленного!) козла с витыми острыми рогами, янтарные чётки — возьмёшь их, они переливаются в пригоршню тёплой виноградной гроздью. Или вот ту же скатерть.

Изюм почтительно проводит ладонями по плотной и лоснистой, как новенькая кожа, материи — вся она сплошь в лошадах да всадниках: скачут они, скачут, лук натягивают, целятся в лань, а та шею гнёт до земли в бесконечном, неуловимо женском изнеможении...

Ну, это когда Надежда пускает на свою веранду. Может и не пустить: поднимет от стопки листов свою рыжую копну, блеснёт очками, прям как Берия, и бросит: «Занята — работаю — спинь!» Она вообще женщина с характером. Редактор в большом издательстве, с писателями хороводится, и эти самые писатели в её рассказах — то ли дети малые, то ли тепличные растения, то ли буйнопомешанные. Надежда, когда заходит разговор, имён обычно не называет, любопытство праздное пресекает, очень строга; обронит только: «некий известный автор». И тогда похожа на старшую медсестру психдиспансера или на главного садовника в курортном ботаническом розарии. Куда-то она ездит на встречи с ними, носится с их... даже не книгами, а чем-то вроде рассады: «рукописи» называются, и из них, как из луковичцы — тюльпан, книги ещё только надо выращивать.

Книжки вообще-то Изюм уважает, кое-какие в детстве почитывал, любит о них порассуждать:

— Костику по программе надо «Хоббита» читать, — делится он с Надеждой. — Я в шоке! Он в третьем классе!

— Да ладно тебе, «Хоббит» — хорошая книжка.

— Хорошая?! Ты знаешь, какие там твари?! Я хочу спросить: где Пастернак?!

Натыкается на изумлённое лицо Надежды и суетливо себя поправляет:

— ...в смысле, Мамин-Сибиряк! ГДЕ САВРАСКА? Я Костику говорю: «Сынок, давай почитаем про Незнайку!» А он мне: «Пап, ты что, травы обкурился?»

Изюм — ближайший Надеждин сосед через забор. Он рукастый и поможливый, когда в настроении. Когда в настроении, он и собеседник забавный, и насмешит кого угодно до икоты. Идеи и разные технические усовершенствования мира прут из него, как дрожжевое тесто из кастрюли.

— Петровна! — говорит. — Раньше мне всё было пофиг. Теперь я не пью, не курю, похудел на восемь кило, и мне всё стало не пофиг, — на трезвую-то голову. Вот, думаю, неплохо бы миллионов десять заработать.

— Интересно, на чём бы это? — Надежда насмешливо поглядывает поверх своих очков, спущенных на кончик симпатичного носа.

— Ну-тк!.. Мозгами надо шевелить, нащупать какое-нибудь... ноу-халяу, до чего никто ещё не допёр! Петровна, ты вот ночью, когда в туалет идёшь, сразу тапочки находишь?

— Да я их и не ищу. Мне главное очки не искать, а то сразу проснусь. Можно и босиком, на ощупь, — там пара шагов до туалета. И знаешь, я наострилась: когда ложусь, оставляю тапочки ровнёхонько перед кроватью, встаю и ноги ставлю прямо в то же место.

— Ну, у меня так не получается. И я вот что придумал: надо простегать тапки светящимися нитями. Фосфоресценция — если знаешь слово. Проснулся, а они в темноте сияют...

Или прибежит вечером в самый разгар снегопада, весь облеплен снежной жижей, топает по ступеням веранды и дышит, как довольная дворняга:

— Петровна! Ноу-халяу! Страшная экономия времени! Если на твои ворота приделать дополнительные петли вверху, можно домкратом поднимать их из нижних петель в верхние. И тогда не нужно чистить снег! Это ж пустейшее занятие — снег чистить!

Нынешней зимой идеи и усовершенствования одолевают его преимущественно по ночам. Каждое утро, как собака — хозяину, приносит он на крыльцо Надежды очередной продукт бессонницы.

Спит он плохо ещё с позапрошлого месяца: отравился на поминках Гоголя.

Нет, ну эту историю надо в деталях живописать, страстным и убедительным голосом самого Изюма:

— У меня тут одноклассник помер, Гоголь. Гоголь — это потому, что у него носяра значительный. Ну, звонят — на поминки ехать. И такая неохота мне, Петровна! Ведь что такое хорошие поминки? Все ужрутса и давай шапито крутить! А я, как пить бросил, у меня даже чирьи на жопе зарастать стали, и печень не жужжит, и язык поострел.

Но — поехал. Гоголя всё-таки жалко... А они, такие, давай: выпей да выпей. И одноклассники, и жена его. А я и не знал, что водка у них тульская палёная, по семьдесят пять рэ. Махнул раза два этого пойла, чувствую: звук гаснет, зрение заскучало... и кровь будто замёрзла во всех протоках. Мирообозрение, короча, поблскло: ни бэ, ни мэ, ни куролесу...

Ну, «Скорую» вызвали. Промыли желудок, ввели глюкозу. Хотели везти меня в наркологическую больницу. Кое-как отбилса, отказ подписал. И два дня валялся у гоголевской вдовы... В общем, чуть не ушёл за школьным товарищем. Главное, спать не могу! В голову за полсекунды лезет миллиард мыслей. Баллин-блинович! — думаю, — это пипец, сейчас гением заделаюсь!

Ну, пошёл я на приём в нашу боровскую больничку, к психиатру. Почему — к психиатру? А к кому ж ещё? Не сплю, мысли прут и прут. Тот посмотрел на меня: «Давно бухаем?» По коленке — херак! — молотком и... «У вас, — говорит, — наблюдается некая активность мозга». — «Точно, доктор: у меня мозг как самолёт: я только прикорну и — *хоба!* — цветные мысли стеной прут!»

«А вы махните водочки, — говорит. — Рюмку за едой».

И тут, Петровна, понял я, что он сам — синяк, и никакой от него клятвы Гиппократата. Вернулся домой, полез в Интернет, а там то же самое: примите водочки. Да не хочу я пить! Теперь представь: тело устало, глаза, как у Вия — пудовые, а в мозгу идей — на три конструкторских бюро.

Слушать Изюма можно с заткнутыми ушами, жестикуляцией он дублирует каждое слово своих монологов, как актер японского театра «Кабуки»: простирает обе руки (если хочет

призвать к сочувствию), прижимает ладони к печени (подчеркнуть высокую степень ответственности), плавно поводит подбородком справа налево... и так далее. В нём, как в императоре Нероне, умер актёр, но не великий, а поселковый, с подмоченной репутацией и вчерашним перегаром. Однако даже и так от Изюма невозможно глаз отвести: он жестиккулирует даже бровями, а брови наведены от рождения первоклассным гримёром: чёрные, длинные, как приподнятое крыло, — это брови любимой наложницы султана. И голосом он владеет достойно: сочный такой баритональный тенор, с некоторым пережимом и дрожью в минуты восторга или возмущения.

— Тут ночью, оказывается, интересные передачи идут по телику. Но я их смотреть не могу: телик — справа от койки, шея затекает. Так я что: надбыбал сайт с радиоспектаклями, лежу и слушаю... Постановки всё старые, без модной придури, артисты не портянку жуют, говорят тренированными голосами. Я слушаю, слушаю... и погружаюсь. Раза два аж с кровати слетел: там у них речь такая устрашающе-внятная, — представляешь, как в мозгу преобразается? И какие сны потом снятся! Тут вот «Ревизора» прослушал — это коллапс и ужас!

— Ужас? — рассеянно уточняет Надежда, вытирая мытую чашку полотенцем. Вот человек: сервис-то кузнецовский, у Бори-Канделябра за бешеные деньги купила, а запросто ставит его на стол буквально каждый вечер, и прямо вот так невозможно чай пьёт и соседа угощает! Без всякого благоговения. — Почему же — ужас? Там же вроде всё смешно?

— Смешно там? А где ужас?

— Может, ты «Мёртвые души» слушал?

— Нет, то был «Ревизор», — убеждённо говорит Изюм.

— Так в «Ревизоре» всё смешно.

— Ну, знаешь, кому смешно, а кому не очень. Там в хлебе нос нашли!.. Чего ты ржёшь! — возмущается он, рассматривая зашедшую в конвульсиях смега Надежду. Но руки держит на коленях, боится жестиккуляцией смахнуть со стола дорогие предметы чаепития. — Ты что, не помнишь эту великую книгу?! Я от страха чуть не обоссался: ночь за окном, даже псы не брешут, а мне прямо в уши задушевный голос: нос в хлебе! Живой, шевелится!!! Ты что?! Гоголь, это же — кровавый нос в хлебе!

Из себя Изюм, как посмотришь — пузатенький горбоносый крепыш с близко поставленными серыми глазами. Когда увлечённо что-то рассказывает, глаза выпучивает и доверчиво моргает, а ресницы девчачьи, пушистые; опускает их — они как веера.

Рот он старается поменьше разевать, ибо у него там, сам говорит: «последний день Пномпеня».

Лет десять назад, когда был богатеньким («когда у меня был майонезный цех!»), он начал было строить импланты, но по жизненным показаниям не довел дело до конца, и теперь вместо некоторых зубов у него пеньки. И потому, даже смеясь, он старается делать губы жопкой. Надежда бы и не заметила, но когда он признался, заглянула-таки в пригласительно разинутую пасть и пеньки эти узрела.

Изюм — брехун отчаянный, *изюмительный*. Куда ни кинь, где ни копни, отовсюду лезет его суетливая брехня: брехня художественная, упоительная, вдохновенная, забывчивая и дармовая.

На днях, заглянув к нему по очередному ремонтному делу, Надежда углядела под шкафом электронные весы. Не поленилась, встала на карачки, вытянула их, обмахнула подолом пыль и взгромоздилась; а там — минус одиннадцать кэгэ от правдивого веса.

— У тебя даже весы брешут! — заявила она и рукой махнула, своей пухлой величавой рукой.

Надежда вообще-то вся целиком женщина величавая: высокая, полная, и лицо — так у рыжих бывает — белое и гладкое, как на портретах разных императриц.

— Императрицы?! — презрительно щурясь, отвечает она Изюму. — Да они все были немки, Изюм, все — немчура худосочная. А я — мордва, прикинь? Настоящая ядрёная мордватордовская, плоть от плоти родной картофельной ботвы...

И оба хохочут. Посмеяться она тоже любит — когда в настроении.

Но главное, они — Надежда и Изюм — дружба по животной теме: у обоих собаки, а у Надежды ещё и кот Пушкин.

Пёс у Надежды ангельской кротости, и оно понятно: лабрадор. Однажды, в начале счастливой совместной жизни, она по-

везла своего Лукича на какую-то собачью тусовку. Не то чтоб уж прямо наград возжаждала, а вот, покрасоваться хотелось: ну, такой он был распрекрасный мальчик, с блестящими персидскими глазами.

Получив двусмысленную запись «перспективный лабрадор», Надежда на всю эту собачью аристократию обиделась и участие в просмотрах собачьих статей прекратила. Перспективный лабрадор, вообще-то белый (но на солнце — с редким золотисто-луковым отливом), остался обаятельным неучем, добряком и рубахой-парнем. С Изюмом у них отношения трогательные, так как, уезжая к себе в Москву, Надежда частенько оставляет Лукича на попечение Изюма, ни к чему, считает, лишать собаку здорового деревенского климата. А щедрый Изюм уж кормит так кормит: и кашку замутит, и котлетки замастырит, а на третье — шарлотка, так что Лукич за Изюма душу свою бессмертную собачью ежеминутно готов продать. Сидит тот за столом у Надежды, а Лукич встанет на задние лапы и пошёл за Изюмовым ухом ухаживать, вылизывать его не за страх, а за совесть.

— Ну, ладно, дуся, — уговаривает его Изюм, поглаживая и отпихивая, — дышишь, как грубиян, вот, сердце бьётся. К чему эти излишества!

У самого-то Изюма собачина будьте-нате: Нюха, алабайка тигровой масти. Он зовёт её «свиньёй» и уверяет, что стоит Нюха двести тыщ.

— Мы тут пошли на рыбалку с соседом. И он мне: «Продай собаку». Я ему говорю: «У тебя жена есть? Продай мне её».

Нюха, в отличие от деликатного Лукича, собака безрассудная и склочная: рвёт и грызёт всех псов по округе. Недавно порвала собачку Юрки-пожарника. Тот ворвался с берданкой в руках:

— Всё, Изюм, псас я буду её убивать!

Но Изюма так просто не уцепишь. Он же вертлявый, как Буратино.

— Давай, Юр, убивай. Только помни, у меня тут всюду камеры натканы.

Долго Юрка ярился, — слюни веером, сопли пузырями, — весь двор Изюму заплевал. Пришлось, куда денешься, отку-

паться. Договорились, что Изюм ему у Витьки, собачьего заводчика по кличке «Неоновый мальчик», купит щенка хаски.

Не успел это дело уладить, другой сосед с порванными джинсами:

— Сделай укол своему динозавру, блять!

А Изюм-то к любому свой подход имеет. Головушку по-нурил и смиренно так:

— Давай, делай укол мне. Делай, Мишка, мне укол.

Нет, намордник-то у Нюхи имеется. Уж не знаю — у каких рыцарей такой был: металлическая сетчатая труба устрашающих размеров. Выбегает несчастная псина с такой вот дурой на башке, а зима в этом году снежная, но мокрохлабистая. Нюха морду в сугроб опускает, в трубу набивается снег, и бежит алабайка, бежит, башкой мотает. Своей «свиньёй» Изюм гордится, всё ему кажется, что она достойна более широкого признания и незаурядной судьбы. Вот и придумывает разные эпизоды героического эпоса:

— Мы сегодня со свиньёй поехали в Коростелёво. Зашёл я в магазин, свинью на улице оставил. А возле магазина такса привязана, вполне такая городская семейная такса. Вдруг из-за угла выбегает огромная собака дикая, набрасывается на таксу и давай её рвать!

Когда Изюм рассказывает, глаза его горят, пальцы топырятся ершом, локти — крылышками, ресницы трепещут. Если он стоит, то при этом ещё и подтанцовывает.

— Ну, свинье моей это дело не понравилось, и она ка-а-ак бросится на дикую собаку!

— Как же это она бросилась, — подозрительно щурится Надежда, — когда у неё морда в трубе?

— А вот прямо как в турнирах: морду поднимает и бьёт, поднимает и бьёт! У неё труба — натуральный щит-и-меч! Ну и отогнала дикую собаку. И тогда из магазина выходит хозяин таксы. Он, оказывается, это дело в окно наблюдал. Жмёт мне руку и даёт пятьсот рублей!

— И ты взял?! — презрительно ахает Надежда.

Изюм опускает ресницы:

— Ну, а что... взял! Призы-то у нас ещё никто не отменял.

\* \* \*

Мужичок он в силу разных причин и происшествий беспаспортный, водительские права тоже отсутствуют. Так и ездит... и, между прочим, ездит аккуратно, получше многих иных.

Однажды привёз к Надежде ту самую иерусалимскую писательницу, — в Обнинске она выступала, в Центральной библиотеке. А Изюм с бригадой Альбертика делал ремонт на даче у одного крутыша. И Надежда: «Слушай, Изюм, прихвати-ка Нину, тебе ж по пути, а я на ужин баранинки потомлю. И ты приглашён».

Отчего не прихватить, Изюму и самому любопытно: у Надежды на полках книг этой писательницы — как бурьяну. Подумать страшно, сколько человек за свою жизнь может слов намахать!

Подъехал вечером к библиотеке, парканулся... дождался, когда из дверей сначала вся бабья шупшера повалит, а за ней — в букетах и венках, как майская утопленница, — выйдет та самая Нина... Ничего такая тётка, простая, без понтов, за руку здоровается. Поздоровкались, погрузились, поехали... На заднем сиденье цветы колышутся и пахнут, и только духового оркестра с траурным *шóпенгом* не хватает, — медленно едем, незачем писателя по ухабам трясти.

Надежда предупредила, чтобы Изюм пореже рот разевал: пойми, мол, известный писатель, на неё и так народ прёт со своими идиотскими эмоциями. Помалкивай до ужина, — человек устал.

Какой там устал человек! Напустилась на него с миллион-вопросов. И до всего ей дело: про жизнь его, родителей, работу, мысли разные спрашивает. И видно, что не притворяется. Сначала он растерялся, потом расслабился и разговорился. Даже забыл, кто это рядом с ним сидит и что с ней (так Надежда велела) надо блюсти «пиздет».

А она всё: да где работаете, да выгодно ли, и что за люди, и сколько платят, и почём тут картошка... Ну он и пошёл про бригаду Альбертика объяснять: народ всё грубый, что ни слово, то мат. Вот до них он в одной фирме работал, ведал кадрово-техническими вопросами, особо важными для производства. Ничего без его подписи не делалось.

— А образование у вас?.. — деликатно поинтересовалась она. Вопросы невзначай задавала, шёлковым таким голосом.

— Да никакого, — отвечал Изюм охотно, с лёгкой беспешной горечью, но и с достоинством. — Восемь классов у меня, а после — ПТУ, где я, считай, и не учился. Как из армии пришёл, поступил в ту великую фирму дворником...

Выждал паузу и победно-небрежно закончил:

— ...а через три года стал там главным инженером!

Короче, оглянуться не успел, как всё вывалил: детство, мать-сестра-папаша, интернат-фарцовка-армия... Непонятно, что с ним эта писательница сотворила, только он будто под наркозом был или как если б ему вкатили «сыворотку правды». Рассказал даже про то, как в юности проститутки с шестого этажа спускали ему на ниточке деньги. Понесло его, в общем, по кочкам-закоулочкам, как в той детской сказке. Описал в подробностях свой арест на Белорусском вокзале, когда на глазах у трёх лакающих пиво стражей порядка из кармана у него вывалились тысячи натуральных дойчмарок.

— Что значит — вывалились? — в неподдельном волнении спросила Нина.

— ...да наклонился шнурок завязать.

Короче, размяк, дурачина-простофиля! В те минуты казалось: никого ближе этой задушевной женщины на свете у него и нет.

— Эх, я тогда был самый богатый человек... — вздохнул он, поворачивая на родную грунтовку... — Кого хочь мог с потрохами купить в кооперации с падшими женщинами.

— Вы были сутенёром? — доброжелательно уточнила Нина.

— Да не-е, я ж тогда был ещё юный *самбфери*. Я просто — за водкой сбегать, шампанское туда-сюда...

Надежда потом вздыхала и головой качала, выслушивая его исповедь. И припечатала: «Дурак ты, Изюм! Я ж тебе говорила: помалкивай. Эти писатели, они хуже бандитов с большой дороги. Ты ей в сокровенную минуту единственную жизнь доверишь, а она — *хоба!* — накатает повестушку, сто тыщ экземпляров, и будешь ходить в героях ещё триста лет, как вон Хлестаков какой-нибудь. Если уж человек выбрал такую безнравственную стезю, его ж за версту надо обегать!»

Изюм, конечно, и огорчился, и задумался. Вспомнил, как свет редких фонарей скользил по резкому лицу писательницы, выznавательницы коварной; как хмурила она брови, и смеялась, и даже так задорно хохотала, — а зубы белые такие, может, в темноте показалось? — и потрясённо ахала, и брови задирала, и всё детали уточняла. Надо же, какая вероломная!

— А ты тоже, — с упрёком проговорил он, — «интеллигентнейший человек!». А она села и ка-а-ак сказанёт! А потом ка-а-ак выдаст полными словами, без всяких точек. Я не знал, как себя вести: запикать в полный голос или повесить на грудь знак «18+»? И всё про майонезный цех спрашивала: рецепты, калькуляцию там... Чувствую: ещё пять километров, и моя биография предстанет перед ней во всём скромном обаянии буржуазии.

Майонезный цех... это да-а-а, грандиозная эпоха в жизни Изюма, веха биографии, высота и крушение, а потому и вечная присказка: «вот когда у меня был майонезный цех!»

Сидит он за столом у Надежды, набирает на вилку салат «Весенний» деликатной горочкой, замечает между делом:

— Ммм... неплохо! Сюда б ещё пару ложек майонеза.

— Ты что, — восклицает она, — майонез — это отравла!

— Какая же это отравла? — рассудительно возражает Изюм. — Вот когда у меня был майонезный цех, так то была отравла.

И увлекается, рассказывая историю раз уже, не соврать, двадцатый:

— Понимаешь, руки у меня, — говорит Изюм, — всегда были пришиты к телу. Майонезный цех мы организовали в котельной. Движитель стоял посередине, замес шёл в бочках. Воду брали из батареек...

...и так далее: тема большая, любимая мозоль.

Сам он готовит божественно! И котлетки, и щи, и борщ, и манты с пловом — чего пожелаете. А шарлотка, шарлотка яблочная — ну, это вообще, как сам говорит он: «шведЭрр!» Чутьё у него на ингредиенты совершенно пианистическое. Туиную приправу берёт не по рецепту, а щепоткой, прикидывает на глаз, замешивает по чуткому наитию. В этом он — артист,

вдохновенный исполнитель, лихой импровизатор. А порой и анархист.

— Кто такой Зоценко? Инициалы как? Он, короче, всю жизнь про жратву писал, да? Типа: «Марципан и шоколад — всё равно что «Щелкунчика» посмотреть».

Я тут регулярно передачу «Еда» смотрю, там понизу кадра всё время цитаты из этого Зоценко, будто другие писатели всю жизнь голодали. И все цитаты с поддёвочкой: барин приказывает холопу лезть в подвал огурцов набрать, «но чтоб без плесени, а то гости».

В передаче этой разные кренделя фигурируют, крутые шефы. Один презентовал селёдку под шубой. Взял сухари, запёк в духовке одну свеколинку, одну морковинку да картошечку, — как в блокадном Ленинграде. И давай над килькой издеваться: голову ей отрезал и — *хоба!* — скальп снял. Один хвостик остался. В пустую кожу сухарей с овощами напихал, виноградинку засунул... Такой вот *шведэр* кулинарии. Ну и пусть мне теперь господин Зоценко скажет: кому охота сухари жрать?

Да, уж Изюм-то — маэстро подлинный, безо всякого-якова. Когда вещает, ему только трибуны недостаёт: он горячо и плавно жестикულიрует с поистине итальянской пылкостью, ладонью откидывает со лба волосы, пальцы топырит, строит из них загадочные фигуры: складывает щепотью, перебирает воздух, сооружает фиги, крутит ими перед собственным носом... Оглушённый собеседник не знает, куда раньше смотреть и что думать, не говоря уж о том, чтобы в выступление встрять.

— Потом запустили вторую роту именитых кренделей, каждый — с мишленовой звездой во лбу. Эти представляли гребешки под соусом киви. На гарнир — картофельное пюре. Один, лысый такой, пузатый, нажарил луку, говорит: «для хрусткости». Заче-ем?! Где яйцо-о?! Технология пюре вырабатывалась несколько десятилетий! А он туда — херак! — добавляет свежий фенхель. Где ж я тот фенхель возьму? В Коростелево мне сразу по роже дадут, если я у них фенхель попрошу. Где, опять же, взять полторы чайных ложки кунжутного масла, дабы сбрызнуть бефстроганов перед подачей? Или листик васьилька, блин-блинадзе? Да остынет всё, пока я тот листик в поле буду ползать-искать!»

Словом, в искусстве приготовления райских яств Изюму нет равных. И если кто-то недооценил его мастерства или, упаси бог, недоел, недособрал, недоскрёб корочкой с тарелки последние капли благоуханной подливки... тот стал врагом на всю оставшуюся жизнь.

\* \* \*

— Смотри, Петровна, я ей такой обед сготовил, а она жало воротит!

Это — о жене Маргарите, с которой он официально разведён.

Кстати, все его документы и уничтожены-то в угаре и смерче того грандиозного развода: в припадке очередного скандала Марго порвала все их в клочья! Изюм говорит: «с бухты-баракхты порвала, настроение накатило», — но не совсем это соответствует фактам. Ибо до того, пытаясь Марго образумить, все *цацки* жены он собрал и закопал в подвале, — пометив, разумеется, место. Но именно в этот момент (звучит подозрительно, но так уж Изюм рассказывает и клянётся, и зуб даёт, и глаза выпучивает, а пальцы ежами топырит) — что-то стряслось то ли с трубами, то ли с электричеством: какой-то взрыв в подвале состоялся, сдвинулась некая плита... Короче, нет с той минуты никакой возможности эту плиту обратно сдвинуть и драгоценности Маргошины извлечь. *Цацки-брюлики*, как он говорит, включали в себя кое-какие брошки, два кольца с изумрудами и целый каскад разных браслетов, кулонов и серёг (папашка-то её покойный тридцать лет был директором ювелирного на Остоженке). Вот порадуются спелеологи будущего! Не спелеологи? А кто? Археологи? Всё равно порадуются...

Марго же уверяла Надежду, что этот сукин кот спустил всё по камешку на свои идиотства, на свой майонезный цех.

Ну, сукин там или не сукин, развод не развод, а только живет Изюм по-прежнему в Маргошином доме в Серединках, деревне такой, под городом славным-старинным Боровском, — потому как надо же за домом смотреть, и траву косить, и то-сё-другое... а он всё ж рукастый. И сына Костика, опять-таки, в каникулы надо на воздух вывозить, а кто его пасти станет, кроме родного папани? И взять ту же Нюху, тигровую алабайку: соба-